

Трудармия

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, в трудармию Вы попали в 42-м году?

Борис Викторович Раушенбах: В марте месяце.

Вера Михайловна Раушенбах: В Свердловске, куда нас эвакуировали, Борис Викторович работал в институте. Но потом, видимо, эта трудармейская волна дошла и до Урала, и подобрали тех, кто там был.

Борис Викторович: Именно "добрали остатки". Раньше отправляли организованно, большими массами, а тут отдельных людишек собирали. Подчищали.

Вера Михайловна: В трудармию попали и те, кто на Урале в то время жил. Тот же Пауль Рикерт. Директор Свердловского театра оперы и балета. Они все туда попали в марте 42-го года.

Бернгардт: Для трудармии это обычный срок. Отца моего забирали в трудармию с Алтая в феврале 42-го. Было как бы три этапа репрессий. Первый – депортация из мест проживания в Сибирь и Казахстан, второй – "мобилизация" в трудармию (с января-марта 42-го) и третий – переселение оставшихся после "мобилизации" членов семей на Север летом 42-го года. Как назывался лагерь, в который Вас забрали?

Борис Викторович: Забирали меня, я бы сказал, очень грамотно. Никто не арестовывал, не хватал за шиворот. Вызвали по повестке в военкомат. Шла война, повестка в военкомат – явление естественное. Там сказали: "Все в порядке", посадили на нары. Это был, можно сказать, пересыльный пункт в военкомате. Люди после ранения приходили, из них составляли группы для отправки на формирование. Ну и я сидел с этими фронтовиками. Заметил каких-то странных людей с немецкими фамилиями, но не придал этому значения.

Потом нас собрали, посадили в один вагон и повезли. А что можно было сделать? Военкомат ведь. Как на войну послали: стройся, выходи, садись. Ехали часа четыре. Вылезли – стоят грузовики. Нас посадили – и в путь. Куда? А кто его знает. Жизнь солдатская – начальство знает, куда везти. Привезли к какому-то дому, высадили, сказали: "Здесь будете жить".

На этом вся галантность закончилась. Никто нам ничего не объявлял, никто не предупреждал. Просто привезли и выгрузили. Никакого ареста и всяких ужасов, с ним связанных, не было. Но когда высадили, то выяснилось, что мы попали в "зону". А в "зоне" были лагерные порядки. Вызвали в военкомат, а попали в лагерь НКВД.

Они еще толком не знали, что делать с нами, и обращались точно так же, как с заключенными. Тагиллаг – это несколько лагпунктов, где сидели 58-я статья, бытовики, в общем – все, и мы в том числе. Но непосредственно в нашем лагпункте мы были одни, только немцы. А где-то за километр находилась "зона", где сидели воры, дальше – "зона", где была 58-я, и так далее.

Нас привезли в пустой лагерь, и мы его заполнили. Все вместе называлось "Тагиллаг", а мы – "Стройотряд № 18-74" (*"Спецотряд № 18-74" – прим. авт.*). Лагеря с другими номерами находились как в Тагиллаге, так и за его пределами, и, судя по нашему номеру, таких лагерей было много.

В Тагиллаге было несколько лагерей с немцами. Народ-то говорил, мы слышали. Наш лагерь, потом рядом, от нас километра два, другой. Каждый лагерь обслуживал какое-то предприятие. Мы были при кирпичном заводе, а пару километров от нас находился карьер по добыче камня – "Зайгора", там была своя "зона".

Я не берусь сейчас всесторонне оценивать, но это была большая и хорошо организованная система лагерей. Все было в полном порядке, все отлажено. Единственное – кормили нас хуже, чем заключенных. В списках на продовольствие сначала стояло начальство, потом сотрудники, потом обычные жители, потом заключенные, а потом – немцы. Так что мы жили по остаточному принципу – что оставалось, на том и жили. Но оставалось очень мало. Половина лагеря умерла от голода.

Когда я был в Бухенвальде, там показывали ужасные фотографии истощенных заключенных, умирающих от голода. И я подумал: "Удивили меня Бухенвальдом! А у нас чем было лучше?" Ничем. Единственная разница – там, может быть, нарочно убивали, а у нас не нарочно, люди сами умирали. Есть не давали, а работать заставляли.

Были дни, помню, когда мы по десять человек хоронили. Точнее, не хоронили, а складывали в яму и присыпали песочком. Был ров вырыт, в него складывали ряд, потом другой, потом следующий... Буквально в метре от лагеря.

Бернгардт: Хоронили дежурные или специальная команда?

Борис Викторович: Я не помню, кто хоронил, но это была яма, которая постепенно заполнялась, и когда дело доходило до верха, то ее засыпали и вырывали новую...

Бернгардт: Какое впечатление на Вас и Ваших сотоварищей произвел сам факт: "Я за колючей проволокой...?"

Борис Викторович: Никакого. Привезли и сказали: "Занимайте, этот барак ваш!" Мы побежали в барак, стали устраиваться на нары. Кто вниз, кто вверх. Без всяких драк, дружно все устроились и зажили "нормальной" лагерной жизнью.

Бернгардт: Есть давняя, наверное уже неосуществимая, идея – составить "энциклопедию" трудармии. Вот лагерь такой-то, статистические данные: сколько наших там было, что делали, как жили. И при этом еще рассказ какого-то очевидца, чтобы прочувствовать атмосферу.

Борис Викторович: Понимаете, Тагиллаг ведь, как я уже говорил, – это целая система лагерей, и люди находились в разных точках. Что касается нас, то мы жили на кирпичном заводе. Наши бараки – их было несколько – обслуживали этот завод. Нас никуда не выпускали. Мы знали по слухам, что где-то есть еще трудармейские лагеря, но мы там не бывали и не можем ничего о них сказать.

А у нас было так: утром вставали, завод прямо тут же, общая территория. Там даже особой колючки не было – мы ходили в таком виде, что удрать было невозможно.

Бернгардт: Но вы же ехали в своей одежде?

Борис Викторович: Да, но все быстро кончилось. Ходили там, одетые как черти. И никакой особой охраны лагеря не было. Были, конечно, эти самые правила НКВД. Скажем, утром вывод на работу. Полагается с конвоем, хотя у нас не было конвоира. Шли сами, по отделениям. Бригадир, проходя через проходную, говорил, что идет такое-то отделение, такой-то отряд, столько-то человек. Солдат записывал. И бригадир обязан был вернуться с таким же количеством людей. Все было, я бы сказал, по-семейному.

И никто не боялся, что мы удерем. Мы были так одеты, что идти в город немислимо – нас бы сразу схватили: ватники какие-то странные, на ногах вместо ботинок – самодельная обувь из автомобильных покрышек. Если по улице города шел человек в обуви из автопокрышек, это сразу бросалось в глаза каждому.

Бернгардт: Зона была в пределах Нижнего Тагила?

Борис Викторович: Это окраина Тагила.

Вера Михайловна: 4 километра – столько я шла от станции.

Борис Викторович: От станции 4, а от города ближе.

Бернгардт: Сколько человек было в одном бараке?

Борис Викторович: Это зависело от того, какой барак. У нас много народу было. Может быть, сто, может, и двести человек. Спали мы на двухъярусных нарах. В комнате, где я жил, нас было что-то около 10 человек. В бараке была коридорная система – коридор и комнаты. Нам повезло, что мы попали в обычный барак, построенный в свое время для рабочих. Конечно, он был набит до отказа.

Бернгардт: А как сквозняки?..

Борис Викторович: Это зависело от наших способностей. У нас всегда было тепло. Мы же находились при кирпичном заводе, там идет обжиг. Воровали горючее. То есть не воровали, а просто брали. Возвращаясь с работы, каждый волок с собой ведро с коксиком. Коксик – это не уголь, а значительно более высокоэффективное топливо. "Что

несешь?" – "Коксик". Это все было внутри "зоны", и все знали, что коксик нужен, чтобы топить. И мы топили коксиком зимой свою комнату. У нас всегда стояло очередное ведро, так что я никаких сквозняков не знал.

Бернгардт: С теплом вам повезло. А как с насекомыми?

Борис Викторович: Вши? Там были всякие санитарные мероприятия. Самое крупное – борьба с клопами, когда нас всех выводили летом из барака. Вытаскивали все наши вещи, в том числе и постельные, что было глупостью. Потом серой обрабатывали барак и заносили назад вынесенных клопов. Из тех клопов, что оставались в бараке, часть дохла, а оставшиеся были (*смеется*) особенно злыми и набрасывались с удвоенной энергией. Но куда-то шел отчет об успешной борьбе...

Вера Михайловна: А других насекомых мы проглаживали раскаленными утюгами, когда приезжали. Треск стоял страшный!

Бернгардт: У вас была столовая или просто раздаточный пункт?

Борис Викторович: Столовая. Там стояли столы, каждый подходил к раздаче и получал порцию баланды или каши – в общем, что полагалось, – в свою посудину. У каждого что-то было, какие-то котелки. У одного была миска, и он этим очень гордился. Что у меня было, не помню.

Бернгардт: Питание было два раза или три?

Борис Викторович: Два.

Вера Михайловна: Утром и вечером. Если утром получали пайку и ее съедали, то до вечера ходили голодными.

Бернгардт: А пайка какая была – 400, 500, 600 грамм?

Борис Викторович: Минимальная пайка была 400, максимальная – даже 900. Но большие пайки выдавались только за крупное перевыполнение норм. ИТР, который не мог ничего перевыполнить, получал 600-700 грамм. У меня тоже было 600-700, потому что я работал не для Тагилстроя, а для другой организации, и не было оснований давать мне больше.

Пайки давались так: сначала – минимальные, потом – прибавки за перевыполнение, за работу в тяжелых условиях и так далее. Но у меня-то никаких добавок не было, я шел всегда по самому низкому для ИТР разряду.

Бернгардт: Это был обычный хлеб?

Борис Викторович: Сейчас бы мы сказали, что плохой. Он был очень мокрый. Но все такой ели, и мы тоже. Мы одно время даже пытались (потом прекратили из-за сильного голода) откладывать пайку на завтра, чтобы хлеб подсох немного и приобрел нормальный вид. Но мы эту затею бросили, съедали сразу.

Бернгардт: А еще что было, кроме хлеба?

Борис Викторович: Баланду давали, а больше ничего. Что там еще могло быть?

Бернгардт: То есть баланда на завтрак и баланда на ужин...

Борис Викторович: Раз в месяц давали сахар и кофе, но не настоящий, а ячмень поджаренный. Сахара было с полстакана или чуть больше. Мы его сыпали в кофе, смешивали, получалась такая рыжая, очень сладкая конфета. И мы их сжи-ра-ли. Кофе нам тоже давали мало. Раз в месяц мы могли делать такую штуку, но чтобы каждый день есть понемножечку? Нет! Это было такое пиршество! (*Мечтательно.*) Шикарное...

Бернгардт: А что из себя баланда представляла?

Борис Викторович: Что было, из того они и варили.

Вера Михайловна: "Лапшинка за лапшинкой бегаёт с дубинкой".

Борис Викторович: Ну что ты, какая там лапша! Лапша – это была наша лагерная мечта! Помню, Пауль Рикерт все говорил: "Если кончится война и нас отпустят, я приеду домой и скажу Наде, чтобы она сварила мне таз (знаете, такой большой, для мытья головы), целый таз лапши! Я ее с сахаром съем!" Таз лапши с сахаром – предел мечтаний!.. Обычно была какая-то очень жидкая каша. Сыпали туда что-нибудь.

Бернгардт: Перловка, пшенка, овсянка?

Борис Викторович: Что привезут, то и сыпали.

Бернгардт: То есть это был не суп, а жидкая каша?

Борис Викторович: Нет, все-таки суп, очень жидкий суп. Была ли там картошка? Как когда. В общем, что-то давали, и мы не умирали. То есть люди умирали от голода, но те, кто был на тяжелой физической работе. У меня тяжелой работы не было, но есть все время хотелось. Я думал только о еде. Ее явно не хватало, поэтому все мои мечты, разговоры, все сны были такие (*смеется*): "Ах!.. Пожрать бы чего-нибудь!" Это странно, но ни о чем другом я не думал.

Бернгардт: Можно сказать, что баланда – это было нечто своеобразное, со своим, всегда одинаковым, вкусом?

Борис Викторович: Да, в том смысле, что никакого вкуса там не было. Просто в кипящую воду кидали какое-то количество крупы, и все. Давали большой черпак – полная тарелка, "с краями".

Бернгардт: И ни чая, ни кофе, кроме этой "конфеты"?

Борис Викторович: Чаю не было, но по утрам давали кипяток.

Бернгардт: И ни масла, ни каких-то жиров?

Борис Викторович: Иногда, когда давали кашу, добавлялся маленький черпачок растительного масла. Странное масло – льняное или еще какое-то.

Бернгардт: В Котласе, отец рассказывал, специально заваривали хвою в бочках. Эти бочки стояли перед входом в раздаточную, и пока ты кружку хвойного отвара не выпьешь, то туда не войдешь.

Борис Викторович: Этого у нас не было. От цинги мы сами варили траву.

Вера Михайловна: Я привозила всякую "химию", которую мне рекомендовал один из друзей Бориса Викторовича.

Бернгардт: Вы попали туда в марте 42-го и пробыли...

Борис Викторович: До 46-го года. Когда кончилась война, зону открыли. Разрешили снимать жилье, но нельзя было уезжать. Мы оказались в положении Ленина в Шушенском. Не имели права никуда ехать – мы были ссыльные, сосланные именно в Нижний Тагил. "Вы не можете никуда выезжать, но это отнюдь не ущемляет вас ни в чем, – сообщил нам оперуполномоченный, – вы даже можете писать поэмы!" Поэм, правда, никто не написал (*смеется*), но нас очень обрадовало, что теперь мы можем писать поэмы...

Бернгардт: Итак, люди работали на кирпичном заводе. Сколько часов продолжалась смена?

Борис Викторович: Никаких 8-часовых смен, конечно, не было. Шла война.

Бернгардт: 10 или 12 часов?

Борис Викторович: Точно не помню, я ведь работал на заводе только первый год. Но у нас было так же, как у всех. Там работали и вольнонаемные: половина завода – мы, половина – вольные. Вольные – это бывшие сосланные кулаки. Тем не менее, они были свободные, а мы находились в "зоне". Но работали все вместе, а смена начиналась и кончалась, как ей и полагалось. Не 8 часов, а где-то 10 или 11. Это было одинаково для всех и не могло быть по-другому по технологическим причинам. Одни придут, а другие нет? Это невозможно.

Бернгардт: А чем занимались после работы?

Борис Викторович: Тут каждый делал, что хотел. Наша комната была такая... высокоинтеллектуальная – мы занимались в основном, я бы сказал, мозговой деятельностью. Часть играла в карты, домино (я считаю, что это тоже умственная работа, там ведь все-таки думать надо, а не просто размахивать кувалдой). Я учил немецкий язык, именно в лагере научился настоящему немецкому. Мой лучший друг в лагере, Пауль Рикерт, родился в Берлине и был доктором Берлинского университета. Я у него учился языку. Мы с ним договорились меж собой: "Раз нас посадили как немцев, так давай не будем ни слова по-русски!" И мы 4 года говорили только по-немецки. Я знал немецкий, но

"домашний": "Как суп, вкусный? Когда ты придешь из школы?.." Бытовой разговор. А говорить о литературе, о науке я научился в лагере у этого берлинца.

Вера Михайловна: Там совершенно разные люди были. Были рабочие, крестьяне с Поволжья, и был очень интеллектуальный народ. Был директор Свердловской оперы и балета, был Пауль Эмильевич Рикерт, был профессор Московского университета Отто Николаевич Бадер, был художник, был химик Армин Генрихович Стромберг и так далее. То есть там собралась группа интеллигентов.

Вы спрашиваете о досуге, так они друг другу читали лекции: Бадер – по археологии, Борис Викторович – о будущем освоении космоса, Рикерт – химик, страстно увлекающийся минералогией, рассказывал об этом. Те работали все вместе, на кирпичном заводе, а Борис Викторович сидел в бараке над своими отчетами. А вечером, когда они освобождались, то читали друг другу лекции по своей специальности. Это была такая своеобразная Академия.

Бернгардт: Все случайно оказались в одной комнате?

Борис Викторович: Люди подбирались более или менее случайно. Мы ведь, когда приехали, не знали друг друга. Но в наших комнатах жили одни итээровцы – люди, занимавшие инженерные должности. То есть какой-то культурно-образовательный уровень у нас был. А на других этажах, в соседних бараках жили простые рабочие, крестьяне, которые часто даже плохо говорили по-русски. У них были свои интересы, и лекций они друг другу, конечно, не читали.

Бернгардт: И такой настрой сохранялся до...

Борис Викторович: До самого конца. Настрой такой был: вести себя достойно в недостойных условиях.

Бернгардт: И через месяц, через два, через год?

Борис Викторович: Что-то менялось, но несущественно. Временами кормежка была получше, иногда что-то разрешали, потом запрещали. Но настрой оставался именно такой.

Бернгардт: Я это к тому, что, скажем, у моего отца в трудармии была одна проблема – выспаться. У них просто не было времени чем-то заняться на досуге. Если была возможность, то человек спал.

Борис Викторович: Может, у нас в соседнем бараке то же самое было. А в нашем было, я бы сказал, "нормальное" заводское общежитие. Комната, в ней 8 или 10 человек ИТР. Приходили со смены (процесс был непрерывный, нельзя остановить огонь в печи), ложились спать. Мы старались спящим не мешать, но, в основном, все работали днем, а ночью спали, и никаких особых проблем со сном не было. Если хотелось спать, надо было просто раньше лечь.

Мы привыкли засыпать в любых условиях. Я, например, спал на кровати, к которой был вплотную придвинут стол. За этим столом играли в домино. Я ложился спать, а они стучали, и мне было совершенно все равно.

Бернгардт: Для лекций нужны письменные принадлежности – бумага, карандаши.

Борис Викторович: Это все было из дому. Жены привозили, еще как-то доставали. Лагерь ничего не выдавал.

Лекции были раз в неделю или в две недели. Как подготовимся. На всех наших сборищах должен был присутствовать оперуполномоченный. Собрались заключенные и о чем-то говорят! Может, они там антисоветские разговоры ведут?! Он сидел, записывал и убеждался, что мы антисоветской пропаганды не ведем и Сталина убивать не собираемся. Может, ему даже интересно было, кто его знает.

Вера Михайловна: Однажды рассказывали, как Отто Николаевич Бадер что-то ляпнул и ты его выручал.

Борис Викторович: Да ерунда!.. Человек делал доклад о старинных временах начала тысячелетия. Тогда, в частности, в Крыму жили готы, и он об этом сказал, а готы – в каком-то смысле немцы. И пошло: "Как так, немцы в Крыму жили?!" Это был, конечно (*дружный хохот*), криминал. И я потом оперативникам объяснял, что, во-первых, он

вечно путает все, а, во-вторых, готы – все-таки не немцы. Подробностей уже не помню, но я им объяснил, и они успокоились. Там таких смешных вещей из области "нарочно не придумаешь" было очень много.

Бернгардт: Вы тогда смеялись?

Борис Викторович: Конечно! Господи, да у нас было очень весело, мы очень много смеялись. Давно замечено: когда человек попадает в тяжелые условия, он много смеется. Это такая защитная реакция организма.

Бернгардт: Было у меня однажды очень тяжелое интервью с трудармейцем Иоганном Гинтером про строительство плотины в Краснотурьинске. Они там вообще не разговаривали. Только приказания сверху – и все. Ходили молча с работы, на работу. Это потом уже, после войны, потихоньку...

Вера Михайловна: Мне говорил Стромберг, что если бы не своеобразный характер Бориса Викторовича, не его оптимизм, было бы гораздо трудней. Больше всего он их и держал на уровне.

Борис Викторович: Оптимизм мой заключался в том, что я им сказал и постоянно это проповедовал: в Советском Союзе каждый приличный человек должен несколько лет отсидеть в тюрьме. И приводил примеры – вот Туполев сидел, вот такой-то, смотрите, тоже сидел! А чем мы хуже? Мы тоже должны свое отсидеть! Я им это очень хорошо объяснял. Они даже говорили, что меня надо пустить агитатором по всем лагерям.

Вера Михайловна: Опять же немцы, война с Германией...

Борис Викторович: Я им так и говорил: "Что вы хотите? Так и должно быть. Все о'кей!" Я не воспринимал это как трагедию, нет.

Бернгардт: Не было чувства, что вас предали?

Борис Викторович: У меня лично не было. У меня, в общем, было хорошее настроение.

Бернгардт: Какое-то время Вы все-таки отработали на кирпичном производстве?

Борис Викторович: Да, но мне повезло. Я работал в отделе технического контроля, а это не физическая работа. Я принимал кирпич, сортировал его и так далее. Также довольно тяжело, потому что кирпичи надо поднимать, а они, сволочи, оказывается, тяжелые, если все время этим занимаешься. Но, конечно, это не то, что работать в забое или на обжиге, так что я довольно легко отделался.

Бернгардт: И сколько Вы там проработали?

Борис Викторович: Между полугодом и годом – это все постепенно происходило.

Бернгардт: Судя по Вашей книге "Пристрастие", Вы в лагере получали особые задания?

Борис Викторович: Да, была устроена такая липовая ситуация. "Липовая" вот в каком смысле. Был такой генерал Болховитинов, крупный в свое время авиаконструктор, которого любил Сталин, хотя все его конструкции погибали. Леваневский, знаменитый летчик, погиб на его самолете, когда летал через Северный полюс. Короче говоря, ему жутко не везло, а человек он был добрый и существовал, можно сказать, хорошо.

И вот он решил, что после войны я буду работать у него. На то были основания: его заместитель знал меня по научным трудам и сказал: "Он нужен нам". Болховитинов согласился. В общем, они стали меня опекать с тем, чтобы потом забрать к себе. Эта их опека существенно улучшала мое положение в лагере.

Бернгардт: Основную роль сыграл отчет, который Вы отправили им из лагеря?

Борис Викторович: Отчасти, да. Они убедились, что я могу что-то делать, и считали нужным мне помогать. Народ шел на работу, а я оставался в бараке и писал, считал, готовил отчеты, которые отправлялись официально, через управление лагеря.

Я не очень-то нужен был Тагиллагу. Одним человеком больше, одним меньше, а там тысячи людей работали. Не будет 1001-го – и черт с ним! Был бы я незаменим, они бы за меня схватились. А поскольку я был простая рабочая сила – ну раз кому-то надо,

пожалуйста! Эти авиационные фирмы платили за меня Тагилстрою. Мне формально шла какая-то зарплата, а им шли деньги (*смеется*) за аренду меня.

Вера Михайловна: Как сейчас арендуют спортсменов.

Борис Викторович (*смеется*): Продавалась рабсила, и за нее платили. Регулярно переводили деньги на счет Тагилстрою. Они с меня имели то, что надо, – так бы я работал где-нибудь в забое и тем приносил пользу Тагилстрою, а тут они деньгами получали.

Бернгардт: И даже зарплата выплачивалась?

Борис Викторович: Что-то перечислялось на счет. Говорили, что в конце войны получим. Можно было снимать со счета и отправлять домой, что я и делал.

Бернгардт: А сколько посылок можно было получать?

Борис Викторович: Это не ограничивал никто, но я посылки получал редко. Я уже говорил, что как-то сестра с Алтая, где они были с матерью, прислала. Это было большим подспорьем.

Вера Михайловна: И мы ездили. Меняли тряпки на хлеб и везли.

Борис Викторович: Да, но я говорю про посылки. Жены тоже приезжали, привозили.

Бернгардт: Какое-то официальное разрешение на посещение нужно было?

Борис Викторович: Формально, конечно, договаривались. Я просто ставил в известность – никто же не запрещал.

Вера Михайловна: Поскольку, с точки зрения Бориса Викторовича, его высшего образования было недостаточно, он захотел пройти университетский курс по математическому факультету. Поэтому я таскала ему хлеб в рюкзаке и целый чемодан книг. Раза два в месяц к нему ездила, меняла свои оставшиеся тряпки. Их, правда, не так много было, мы ведь из Москвы неожиданно уехали. Из Свердловска поезд шел 4 часа. Приезжала в 4 утра и шла туда.

Бернгардт: Там конвой проверял?

Вера Михайловна: Конвоя не было. Просто пропускали – и все. К Бадеру приезжала Мария Александровна, к Рикерту – Надежда Леонтьевна, к Владимиру Федоровичу Рису – его супруга Надежда Дмитриевна. Мы вместе с ней приезжали. Владимир Федорович был очень интересный человек. Он работал в Ленинграде и даже, сидя в "зоне", получил Сталинскую премию.

Борис Викторович: В Ленинграде был институт, который занимался воздухоудвкой турбинного типа для энергетики. Рис был там крупным научным работником. Премию дали группе, и когда подавался список, Рис еще был там, а когда присудили премию, то уже сидел в лагере. На основании этого его раньше оттуда выцарапали, сразу же после войны (*По документам Тагиллага В.Ф. Рис был демобилизован 12.06.1943 г. – прим. авт.*).

Бернгардт: А вы не обсуждали между собой, где, скажем, находятся академики Шмидт или Ферсман?

Борис Викторович: Нет, мы были не в курсе дела. Вот, например, Кренкель. Его неудобно было сажать – с Папаниным на льдине вместе плавали. Был Шмидт, были и другие. Некоторый процент немцев – то ли по недосмотру НКВД, то ли еще по каким-то причинам – вовремя не схватили, и они так и остались. С одним из них я говорил. Ему сказали: "Сиди и молчи, что немец! Не пикни и вида не показывай – иначе тебе плохо будет!" Поэтому они все и сидели, затаившись. Шмидта, конечно, нельзя было взять просто так – слишком известная личность. Его можно было посадить только с разрешения Сталина. Или тот же академик Ферсман. Таких они не трогали.

У нас даже был такой случай. Представьте: три брата, один был с нами в лагере. Он был летчик гражданского флота, летал в Сибири на местных авиалиниях. Другой брат был профессором Московского университета, и его не трогали. Третий брат летал на фронте и получил четыре ордена Красного Знамени. Его не представляли к Герою, поскольку боялись, что им влетит, – немец. Ему об этом прямо говорили. Фамилия у них была Гептнер.

Вера Михайловна: Да, Гептнер. Между прочим, ваш Гептнер был женат на Танечкиной тетке – Вере Павловне Левашовой.

Борис Викторович: Я этого не знал. Видите, как мир тесен. К сожалению, он умер от рака. Он знал, что умирает, и приехал к нам в Москву после войны как бы прощаться. Вид у него уже был нездоровый...

Бернгардт: И парторганизация в лагере была?

Борис Викторович: Была. Все эти члены партии были коммунистами до посадки. Их не исключили, и они даже собирались за колючей проволокой. Это *(смеется)* смешотворно, такое только у нас возможно. Но кандидаты не переводились в члены партии, так и оставались вечными кандидатами, и в партию в лагере вступить было нельзя. Тот, кто уже вскочил в поезд, мог ехать дальше, но – не высовываться! Да, это было смешно... Партсобрания проходили, какие-то решения принимали.

Бернгардт: А комсомольцы?

Борис Викторович: С комсомольцами было проще. По прошествии нескольких лет они выходили из возраста и автоматически исчезали из комсомола. Так что партийцы собирались, комсомольцы – нет. Поелику все понимали, что пока сидят – их возраст выйдет.

Бернгардт: Смерти были, в основном, от голода?

Борис Викторович: От комбинации – голод и непосильная работа. Если бы не было такой тяжелой работы, – на кирпичном заводе, в забое или на лесоповале, – они, может быть, и выжили. Но при той работе, которая у нас была, они выжить не могли. Это продолжалось примерно полгода. Когда вымерла половина лагеря, в Москве схватились за голову: "А кто будет работать?" Стали лучше кормить – стали меньше умирать.

Бернгардт: Полгода – это с начала 42-го?

Борис Викторович: И до середины 42-го.

Было видно по месяцам, сколько умирало, и мы от нечего делать даже вычислили, когда все умрем. Все-таки мы были *(смеется)* инженерные работники, интересно было проводить разные исследования. И так бы оно и было, но в Москве спохватились...

Бернгардт: Есть теория, связывающая перемены в трудармии к лучшему с положением на фронте.

Борис Викторович: Думаю, это только теория. Кому какое было дело – лучше на фронте или хуже? В Москве сидит начальство, которое отвечает за то, что будет срочно построена домна. Вдруг ему докладывают, что строить некому – половины уже нет. Что оно делает? Начинает добавлять жратву. Люди перестают умирать и достраивают домну. То, что там на фронте, нас никак не касалось, а вот жратва и работа были связаны напрямую. Так что тут все просто.

Бернгардт: Качество еды для всех было одинаковым?

Борис Викторович: Да, только количество разное. Одно – ИТР, второе – служащим, третье – рабочим. ИТР не всегда были на первом месте. Больше обычно получали люди, которые были заняты физическим трудом, и это разумно. Потому что им вкалывать надо, а мы-то сидим. Но все-таки у ИТР считалось больше. Обычная пайка была, к примеру, 500 грамм, нам давали 700. Это я примерно говорю. Но рабочим, перевыполняющим норму, конечно, давали еще больше. И правильно! В этом смысле у нас обид не было.

Мы собирали всякие травы, варили из них какую-то бурду и пытались есть. Это было невкусно. Тогда брали эту траву, резали ее, всыпали в нашу баланду. И это наполняло желудок больше.

Бернгардт: Скажем, крапиву...

Борис Викторович: Ну, крапиву! Крапива – это деликатес! Там была горка, и мы на ней собирали траву. Мы ее называли "дурацкая трава". Набивали животы... В общем, ненормальная была жизнь.

Те, кто был на тяжелых физических работах, особенно первое время, все умирали. Когда в Москве спохватились, стали приходить указания, чтобы сохранить рабочую силу.

С одной стороны, стали нас чуть лучше кормить. С другой стороны, тех, кто дошел до такого состояния, что уже не мог работать и должен был умереть, собрали вместе в специально организованный отряд. Их работа состояла только в том, что они ходили в лес собирать грибы. Их пытались подкормить, чтобы потом опять включить в настоящую работу. Этот отряд назывался ОПП. Что это такое, никто из нас не знал (Оздоровительно-профилактический пункт – прим. автора). Мы *(смеется)* этот отряд называли "Отрядом Предварительного Погребения". *(Долго не может остановиться от смеха.)*

Бернгардт: Кто-то восстанавливался?

Борис Викторович: Кто-то выживал, но большинство умирало. У комиссии, которая направляла в ОПП, был очень простой критерий: лагерник подходит, поворачивается задом и спускает штаны. Если не видно, простите, анальное отверстие, то он еще может работать. Если видно – значит истощен. Это называлось "верблюжий зад": от задницы уже ничего не осталось, как у верблюда. Когда половина перемерла, настала у нас такая цивилизованная *(мечтательно)* лагерная жизнь – с врачами и еще черт знает с чем. Вот тогда и появилось понятие "верблюжий зад"...

Да, есть что вспомнить. Но как-то удивительно, что, когда сейчас вспоминаешь, вспоминается все только как некий цирк. Никаких эмоций – положительных, отрицательных – нет. Где-то это все уже отговорило, перегорело. Я сейчас рассказываю – как будто это с кем-то другим происходило.

Бернгардт: В этом, наверное, и было ваше спасение.

Борис Викторович: Наверно. Если бы человек все неприятности запоминал, это была бы не жизнь. Он бы очень быстро помер, а так его организм все неприятное выдавливает из сознания. И правильно. Все прошло, ничего не поправишь. Ну было, так было, надо дальше жить.

После 45-го начались поблажки. Нас всех собрали, сказали, что мы свободные люди. Это, как я уже говорил, нам объявил наш оперуполномоченный. Собрал нас и сказал: "Можете жениться, можете писать поэмы, но ехать – никуда. Только с разрешения". Когда я ездил по делу в Свердловск, то получал разрешение. Рядом, 4 часа на поезде, но надо было разрешение.

Бернгардт: Это было приурочено к 9 мая или...

Борис Викторович: Когда пришла соответствующая бумага – тогда и объявили. Это было уже летом. А 9 мая я лично встретил таким образом. Нас собралось человека три, и мы пошли на пивзавод, потому что городские власти вытащили из лагеря одного немца, который хорошо умел варить пиво. Хотя формально он должен был находиться в "зоне", но начальство решило: "Пусть варит!" Он нам всем поставил по кружке. Вот что я *(смеется)* помню, вот такое у меня было празднование Дня Победы.

А в общем-то, у меня не было там таких ярких дней, о которых стоило бы рассказывать особо.

Бернгардт: Помните "Один день Ивана Денисовича"?

Вера Михайловна: "Один день Ивана Денисовича" – это лучшее, что написал Солженицын.

Бернгардт: День-то взят самый рядовой, но какое ощущение реальности! Когда я в детстве его читал, у нас дома по вечерам собирались соседи, друзья отца – все, как правило, сидевшие. Кто по 58-й, как политические, кто по уголовной, за "кражу" в колхозе – есть было нечего, кто за национальность. И они все в один голос говорили: "Вот как он пишет, так все и было!"

Борис Викторович: Совершенно верно, так все и было. Но вот чего там нет, – он, наверное, не ставил цели об этом написать, – так это юмора висельников. А без юмора жить было невозможно в тех условиях. Поэтому мы это как-то переживали и подавали в качестве театра абсурда или чего-то в этом духе. Все время пытались найти смешное в том, что происходило. Это была такая своеобразная психологическая самозащита.

Больше всего мы издевались над нашими начальниками-энкавэдэшниками. Может, они и были умными людьми, но нам казались редкими болванами. Мы как-то высокомерно о них судили. Это естественная реакция на положение, в которое мы попали.

Я не знаю, как это было у рабочего класса, у поволжских крестьян. Мы были от них очень резко отделены. Во-первых, это было связано с тем, что мы говорили на литературном языке, а они на диалектах. Поэтому они считали, что мы приехали из Германии. Они и меня, например, считали приехавшим из Германии – мы с Паулем Рикертом ходили и разговаривали на литературном немецком. А раз из Германии – значит "не наш". Не в том смысле, что плохой, а в том, что чужак. Поэтому у меня тесных контактов с "трудящимися" не возникало.

Хорошие контакты были с интеллигенцией. Я бы даже сказал, с русскими интеллигентами, которые попали туда по каким-то анкетным признакам, даже если в действительности немцами и не были. Вот Стромберг, профессор из Томска. Ему вдвойне "повезло": место рождения (*смеется*) – Берлин! Дело в том, что его отец и мать совершали свадебное путешествие, и в Швейцарии мать почувствовала, что она может вот-вот разродиться раньше времени. Они в панике рванули в Россию, и по дороге, в Берлине он родился. (На самом деле – в Бреслау.– прим. авт.)

У него была очень энергичная мать, которая умудрилась вытащить его из лагеря до того, как лагерь был распущен. Оказывается, в годы революции она организовывала на Урале высшую школу. И она написала: "Я организовала всякие институты, которые до сих пор стоят, а сына посадили! За что, спрашивается?" Кто-то там наверно сказал: "Отпустить!" А мы (*смеется*) всем объясняли, что Стромберга отпустили, потому что "мама попросила". Это было сразу же после войны, либо в конце войны (*По документам Тагиллага А.Г. Стромберг был демобилизован 17.09.1943 г. – прим. авт.*). За него мама попросила, а за меня некому было просить.

Вера Михайловна: Там был один рыжий, который стал доказывать, что он не немец, а еврей, и его на этом основании тоже выпустили.

Бернгардт: Кстати, я такое от многих слышал. Такое впечатление, что в каждом трудовом лагере был свой еврей.

Борис Викторович: У нас был целый ряд евреев, которым в свое время стало стыдно, что они евреи, и они еще до войны объявили себя немцами. Тогда же никаких метрик не было. А тут, прости Господи, война, их и забрали. И вот они начали доказывать, что они евреи.

Однажды меня вызвали наши энкавэдэшники. Что-то им от меня надо было узнать, какой-то лагерный пустяк. Про лекции, которые мы читали друг другу, или еще что. Они постоянно кого-нибудь вызывали и что-нибудь спрашивали. Так вот, опер называет фамилию одного нашего лагерника, смеется и говорит: "Вот он сейчас бежит и доказывает, что еврей. Наверное, и в самом деле еврей, но что ж он, сволочь такая, столько времени утверждал, что немец? Пусть посидит, чтобы в следующий раз не врал!"

Вера Михайловна: Директор Свердловского оперного театра тоже был еврей, а записался немцем и попал туда. Фамилия у него была что-то вроде Бернера.

Борис Викторович: Я забыл его фамилию, давно это было. А энкавэдэшники (*смеется*) говорили: "Мы знаем, что он еврей. Но пусть посидит, раз назвался!"

Вера Михайловна: Назвался груздем – полезай в кузов.

Борис Викторович: Но потом в конце концов они своего добивались. Из Москвы приходили указания, и их отпускали. Отпустили и директора оперного театра, но уже как еврея. Хотя сажали как немца.

Бернгардт: А среди лагерного начальства много было евреев?

Борис Викторович: Много. Руководство Тагилстроя было – сплошь евреи. Тагилстрой давал отсрочку от военной службы, если соответственный пост занимаешь. Скажем, директор Тагилстроя был еврей, а его сын работал там шофером, потому что шоферы имели отсрочку от призыва в армию. Так что у нас в лагере такая еврейская

мафия была... Ну, мафия или не мафия, но у них есть такое содружество – еврей еврею помогает всегда.

Вера Михайловна: И правильно делают.

Борис Викторович: Да, правильно. Но некоторые наши энквэдэшники находили повод над этим поиздеваться. Не за то, что он еврей, а за то, что скрывал, а теперь пытается доказать, что "я не я, и лошадь не моя!"

Но это все мелочи. Бытовые мелочи, я бы сказал... Конечно, в лагере было тяжело: как я уже говорил, у нас за первые полгода умерла половина! В начале не было жилья, люди жили в мороз и стужу в неотапливаемом продуваемом бараке. Продуваемом, потому что там в нормальное время сушили кирпич и надо было, чтобы свежий воздух шел. И вот в таком бараке – не со щелями, а с огромными дырками для продува – жили люди. Единственное, что на них сверху снег не падал. А знаете, какие морозы там на Урале? К счастью, я попал туда в конце марта 42-го и эту тяжелую зиму не видел. Потом уже стало более или менее нормально: можно было бараки топить, и прочее, и прочее.

Бернгардт: А с конца войны вообще пошло послабление режима. Пока в 48-м году не вышел указ – "временную высылку считать вечной".

Борис Викторович: Это меня не коснулось, я уже тогда был в Москве...